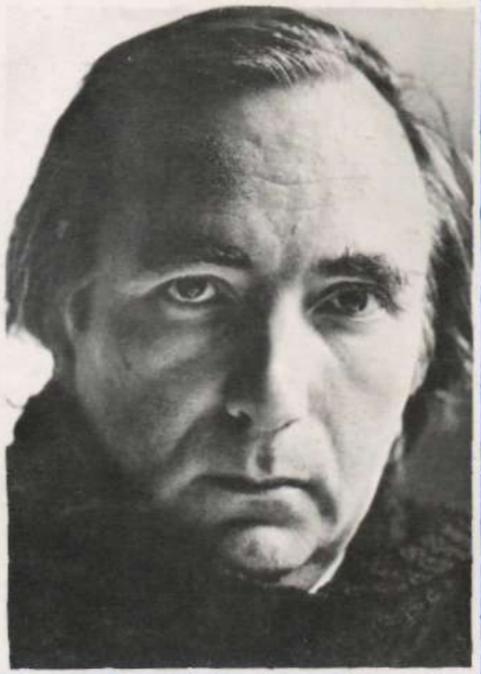


ВРЕМЯ ИДЕЙ 50 1980

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА



В НОМЕРЕ: В ЗАЩИТУ ГРАЖДАНСКИХ ОБЩЕСТВ ● "БЕРДИЧЕВ" ФРИДРИХА ГОРЕНШТЕЙНА ● "БЕЛЫЙ" И "ЧЕРНЫЙ" ИЗРАИЛЬ ● ПОВЕСТЬ О ГЕНЕТИКЕ



Галина Вишневская Трепет и муки актера

Лев Наврозов Посредственность и спасение Запада

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

**50
1980**

ФЕВРАЛЬ

НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

своими глазами читала в "Правде" утверждение этого рода, преподнесенное не со стыдом, а фанфарно. Лысенковщина ни в малейшей степени не заслуживает имени ламаркизма. Ламаркизм — благородное учение. Прогресс — не следствие борьбы за существование, взаимного уничтожения. Он — изначальное свойство живого. Способность самосовершенствоваться — неотъемлемый атрибут живого.

Я хорошо знала ламаркистов. Александр Александрович Любищев и Павел Григорьевич Светлов — мои друзья. Лев Семенович Берг — мой отец. Борис Михайлович Кузин известен мне только по литературе, у нас есть общие друзья, он фигурирует в книге Надежды Яковлевны Мандельштам. И у меня чувство, как будто мы с ним знакомы. Ни один из них не стал под знамена лысенковщины. Оно и понятно. В дарвинистскую эру диктата они были антидарвинистами. В антинаучную эру — они оставались учеными.

Раиса БЕРГ

ПОВЕСТЬ О ГЕНЕТИКЕ

Вместо предисловия

Великие слова прозвучали однажды при обстоятельствах, к тому не предрасполагавших: "Прости им Господи, ибо не ведают, что творят". Знали, что творят, те, кто уничтожал науку и ее лучших представителей, кто исповедовал новое "учение" Лысенко — коронованного отпрыска жандарма и знахарки — рожденного послереволюционной реакцией. Предательство и террор стояли у его колыбели. Чтобы выдвинуться, занять пост, нужны были не научные заслуги, не знание истины, а безусловная готовность предать ее. Так было и так остается по сей день.

Доминирующее положение в крысиной иерархии занимает тот, перед кем умолкают. На промежуточных ступенях генератором власти может стать только рычаг, нажимаемый сапогом вышестоящего.

Никто из прислужников Лысенко не мог отговориться незнанием, они ведали, что творили, их оправданием была необходимость подчиниться силе — боязнь за свою шкуру.

Ламарк сформулировал свою теорию эволюции за сто сорок лет до августовской сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина, которая заседала с 31 июля по 7 августа 1948 года и впервые в истории провозгласила ошибочную предпосылку его великой теории — наследование признаков, приобретенных в индивидуальном развитии — государственной доктриной. Я сама

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ БЕРГ

В 1922 году мой отец написал книгу "Номогенез, или эволюция на основе закономерностей". Номогенез он противопоставил тихогенезу, как он называл теорию Дарвина, произведя название от греческого слова "тихе" — случай. Он говорил мне, что теория Дарвина вредна для человечества, так как в применении к человеку эта теория санкционирует борьбу как фактор прогресса.

Нужно, как это делает Кропоткин, противопоставить теорию взаимопомощи этой антигуманистической концепции. Я говорила, что ратовать нужно не против теории, а против ее применения в той сфере, где она неприменима, и что борьбу за существование Дарвин понимал не в буквальном смысле слова, а как соревнование видов. Соревноваться же можно и во взаимопомощи. Выживают те, где взаимопомощь, включая заботу о потомстве, наиболее совершенна. Взаимопомощь — это средство победить в борьбе. Такого Лев Семенович и слышать не хотел.

Между тем, в двадцатые годы учение Дарвина не подлежало критике. Дарвин был причислен к лику святых, фигурировал в официальном иконостасе марксизма-ленинизма. На Льва Семеновича посыпался град нападок. В особенности

усердствовал малограмотный философ И. И. Презент. Тот самый Презент, который сперва изничтожал ламаркизм с позиций дарвинизма, а потом, переметнувшись в лагерь Лысенко, стал изничтожать дарвинизм с позиций ламаркизма, точнее, с позиций "творческого дарвинизма".

Научная критика велась в стиле политического доноса. Ярлык за ярлыком навешивался на провинившегося: он мракобес, мракобес... Его учение — поповщина. Отрицание роли случая в эволюции — замаскированная проповедь библейского мифа. Критик не искал логических или фактических ошибок, он срывал маску с классового врага. Сегодня звучала громовая речь, завтра перед дверью останавливался "черный ворон".

Судьба милovala Льва Семеновича. Он был не только биолог-теоретик, но и крупнейший зоолог — специалист по рыбам. В 1927 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР по Биологическому отделению. Но главным делом его жизни была география. Он создал теорию ландшафтно-географических зон и воссоздал географию как самостоятельную отрасль знаний, описав зоны Советского Союза.

Будь планирование хозяйства не фикцией, а реальностью, книга Л. С. Берга "Ландшафтно-географические зоны СССР" была бы настольной книгой правителей, а ему были бы предоставлены широчайшие возможности для организации научных исследований.

В 1939 году Л. С. Берг был выдвинут в академики по Географическому отделению АН СССР. И тогда в "Правде" появилась статья под заголовком "Лжеученым нет места в Академии Наук". Другим лжеученым был Николай Константинович Кольцов, тоже член-корреспондент АН СССР, генетик, цитолог, ученый мирового ранга, блестящий организатор, педагог. Сила мысли Н. К. Кольцова поразительна. Он на несколько десятилетий опережал свое время.

Первым он постиг матричный принцип самовоспроизведения генов. Он понял, что через хромосому не идет ток вещества, что она не делится, не расщепляется, а строит свою копию и отторгает ее от себя. Как никто, Кольцов умел связы-

вать результаты генетических исследований с микроскопическими картинками и намечать новые пути в науке. Так вот, этим двум лжеученым — Бергу и Кольцову — не было места в Академии Наук. В Академию они, само собой разумеется, не были избраны. Да им, думаю, было не до избрания: хорошо, что не арестовали.

Л. С. Берг высоких постов не занимал; увольнять его было неоткуда. Н. К. Кольцов был изгнан с поста директора организованного им Института Экспериментальной Биологии и вскоре, в январе 1940 года, скоропостижно скончался.

Жена его, Мария Полиэктовна, покончила с собой. Их хоронили вместе. Отлично помню, как у открытых гробов Н. П. Дубинин клялся навечно сохранить память о своем учителе. Струнным тенором он медленно говорил:

"Мы навсегда сохраним память об этой жизни, об этой смерти — память, которая учит жить".

Что-то плохо она научила Дубинина. Почитайте его книгу "Вечное движение" — политический донос на мертвых, где Кольцову уделено особое внимание.

Статья в "Правде" против Кольцова и Берга была подписана академиками Бахом, Коштоянцем, Нуждиным, Косиковым, Дозорцевой. Она содержала чудовищные обвинения, ничего общего с действительностью не имеющие. Отца обвиняли в симпатии к гитлеризму. Л. С. Берг за короткое время страшно постарел. У него начали выпадать зубы.

Но все же Лев Семенович был избран академиком семь лет спустя. Свершилось это чудо совершенно случайно. Его выдвигали и в 1943 году и еще раз, спустя три года, но шансы на избрание были нулевые. И вот, в 1946 году на одно место по Географическому отделению было выдвинуто два кандидата — Берг и Баранский, и тут случилось нечто неслыханное. Баранский от избрания отказался.

"Никто не может быть академиком, если Берг не академик", — писал этот удивительный человек в Президиум Академии Наук. Берга избрали. А Баранский понес кару за свое "отречение" и не был избран никогда.

Вскоре после августовской сессии ВАСХНИЛ произошла встреча двух академиков — Берга и Презента. Презент был в зените славы. Он заведовал Кафедрой дарвинизма ЛГУ, вершил дела Московского университета, института генетики АН СССР. Он был действительным членом ВАСХНИЛ. Философ, профессор, агроном.

Они встретились в международном вагоне поезда Ленинград—Москва. Л. С. Берг ехал на заседание в Академию Наук. Академики обязаны были присутствовать на общих собраниях Академии. Везли их по первому классу, за казенный счет. Купе международного вагона имеет два спальных места и туалет в отличие от четырехместных купе следующей категории мягких вагонов. Международные вагоны для маршалов, академиков, членов правительства — для тех, за кого платит Советское государство — единственная в мире страна, где, по выражению Н. В. Тимофеева-Ресовского, имеется вспомоществование богатым. Соседом Льва Семеновича был высокий железнодорожный чин, судя по мундиру, которые тогда носили.

Только отъехали от Ленинграда, как в купе вошел человек невысокого роста, по виду одессит. "Здравствуйте, Лев Семенович! Вам часто приходится ездить?" — очень любезно и живо обратился к нему вошедший. "Да, — сказал Л. С. Берг, — хотя я избегаю этого". "А я половину ночей провожу в поезде — три дня в неделю в Москве работаю, а три дня — в Ленинграде". "Как это ужасно. Как же вы питаетесь? Все по столовым?" "Нет, у меня постоянный номер в гостинице в Москве, мне приносят обеды из ресторана". "Так ведь все холодное!" "Я разогреваю на плиточке", — сказал незнакомец. Вечерний разговор на этом закончился.

Утром он вошел в купе снова. "С добрым утром, Лев Семенович!" Снова завязался разговор. Незнакомый спросил, как относится Л. С. к полезащитным лесонасаждениям. Л. С. сказал, что защищать нужно реки и их верховья, что Анучин, Воейков, Докучаев ратовали за это. Незнакомый спросил, как относится Л. С. к рыболовству на Волге, но тут подъехали к Москве и он заторопился. Тогда высокий желез-

нодорожный чин с большим пиететом обратился к Л. С.: "Вот, оказывается, какие у вас знакомые! — воскликнул он с удивлением.

В жизни отец не имел того "орлиного вида", который получался у него на некоторых портретах, но В. В. Сахаров говорил про него: "Даже на Университетской набережной Невы за три версты видно, что профессор идет!"

"А кто это такой?" — спросил Л. С. "Это же сам Презент!" — воскликнул железнодорожный чин.

Отец прокомментировал свой рассказ цитатой из Гете, словами Мефистофеля после его разговора с Богом: "Es ist so nett von so einem hohen Herren so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen". /"Как это мило со стороны Бога говорить так по-человечески с чертом"/. "Боже тебя упаси рассказывать обо всем этом кому-либо", — сказал отец. Но разве утратишь! И я рассказала одному физиологу, Э. Ш. Айрапетьянцу /ученику А. А. Ухтомского/, профессору из выдвинутых, — мне теперь стыдно, что я с ним любезничала. Он сказал, что это в высшей степени интересный случай для познания физиологии высшей нервной деятельности. "Лев Семенович не мог не знать Презента раньше, — объяснил Айрапетьянец, — он заседал вместе с ним в Большом Ученом Совете Ленинградского университета. Но он не замечал его, а если замечал, забывал. Презент — это была угроза гибели. Это явление по науке называется запредельным охранительным торможением. И сколько бы раз Лев Семенович ни встречался с Презентом, он не узнает его никогда".

Я сказала ему, что отец просил никому не рассказывать. Через несколько дней мы шли с отцом по улице и встретили Айрапетьянца. "Лев Семенович, — воскликнул он, улыбаясь своей сияющей улыбкой, — расскажите, как вы с Презентом встретились, я студентам на лекции этот случай буду рассказывать, не называя вашего имени, конечно. Мне Раиса рассказала". Он явно подводил меня, но отец этого не заметил и хотел было рассказать, и тут выяснилось: в точном соответствии с анализом Айрапетьянца, Л. С. не мог вспомнить решительно ничего. "Забыл, — сказал он, — вот Раиса вам расскажет, она все помнит".

В 1971 году я рассказала эту историю Виктору Амазасповичу Амбарцумяну — астроному, академику АН СССР и Президенту АН Армянской ССР. Он начинал свою научную карьеру в качестве профессора Ленинградского университета и был вместе с Бергом и Презентом членом его Ученого Совета. Виктор Амазаспович сказал, что однажды, когда Презент выступал, Лев Семенович спросил его: "Кто это такой?"

Был еще один случай уникальной забывчивости Льва Семеновича. В 1945 году академики и члены-корреспонденты АН СССР во время празднования юбилея Академии Наук получали ордена. Л. С. был членом-корреспондентом, ему по чину полагался орден, хотя и не такой высокий, как выдавали академикам. Когда секретарь Президиума АН СССР Р. Л. Дозорцева поздравила его с получением ордена, он сказал ей: "Что значат эти наши ордена по сравнению с вашими — боевыми!" Ему и в голову не могло прийти, какой дьявольский смысл содержали его слова.

В прошлом Дозорцева была сотрудницей Н. И. Вавилова и Г. Меллера, однако переметнулась к Лысенко и в 1939 году была среди тех, кто подписал статью "Лжеученым нет места в Академии Наук". Ее участие в Великой Отечественной войне выразилось лишь в позорном, паническом бегстве из Москвы на казенной машине во время паники 16 октября 1941 года. Но ее ордена, полученные за верное служение антинауке, были поистине боевыми. Я попыталась открыть отцу глаза, кем на самом деле была Дозорцева. Но она так и осталась в его глазах Жанной Д'Арк Великой Отечественной войны.

Запредельное охранительное торможение, если говорить попросту, значило, что человеку отшибло память. Нужен был сталинизм, приправленный лысенковщиной, чтобы отшибить память и способность узнавать людей, какими обладал отец. Он был не только зоологом, но и палеонтологом — по одной косточке мог определить, что за рыба. О его памяти рассказывали легенды. Его исключительный дар запоминать — это была даже не память, а ясновидение.

В 1946 году вышел в свет первый том собрания сочинений "великого вождя и учителя всех народов" И. В. Сталина, и мы, сотрудники кафедры дарвинизма Московского университета, с ужасом прочитали, что Сталин, в ранней молодости едва закончивший духовную семинарию, имел мнение по поводу теории эволюции. Он писал, что спор между дарвинизмом и ламаркизмом не завершен, и что, по его мнению, победит ламаркизм. Мы поняли, что нам — сотрудникам Шмальгаузена и самому Шмальгаузену — пришел конец. Лысенко получил мандат на ликвидацию тех, кто не считал великими достижениями его знахарство. В 1948 году генетика была ликвидирована. Нечто постыдно-карикатурное стало на место науки. Но некоторые из положений этих бредовых построений, получивших правительственную санкцию, совпадали с тем, что было написано отцом в "Номогенезе" более четверти века назад: отрицание случая, наследование приобретенных признаков...

Избрание в Академию давало Льву Семеновичу широчайшие возможности пропагандировать свою теорию. Никогда автор "Номогенеза" не солидаризировался с победоносцами. Никогда он не сказал: "И я!" Кровавыми руками была достигнута их победа. Дарвинисты, с которыми полемизировал Берг, были его друзьями — Вавилов, Филипченко, Шмальгаузен. Расхождение во взглядах ничуть не мешало их дружбе. Они были убиты или повержены в прах, лишены не свободы слова, а самого слова. Их имена вымарывали из книг, упоминать их было запрещено. Свободы науки, свободы, которую отец ставил выше всего на свете, больше не существовало. Не было и людей. Не перед кем было отстаивать свою правоту. Возвысить голос — теперь означало совершить предательство по отношению к мертвым, к узникам. Жизнь стала ему ненавистной. Он умер.

Незадолго до смерти он сказал: "Я боролся против идеи естественного отбора. Теперь я вижу, что ошибался. Происходит отбор подлецов."

Лев Семенович был избран Президентом Географического Общества в 1940 г. Его предшественником был Николай

Иванович Вавилов — четвертый Президент со времени основания Географического Общества. Когда Вавилова арестовали, Президентом был избран Берг.

В 1947 году Географическое Общество праздновало столетний юбилей. Л. С. написал его историю. Специальную главу он посвятил великому географу, ботанику, агроному Н. И. Вавилову — четвертому Президенту. Цензура потребовала изъять. Л. С. отказался, сказал, что тогда книги не будет, и книга вышла. Неслыханная смелость, великая победа в сталинские времена. Никто не знал, что с Вавиловым. Знали, что арестован. А потом? Умер или отбывает срок? Не знал и Л. С. Берг. Каждую секунду автору такой книги грозил арест.

Пока он был Президентом, имя Вавилова не вычеркивали из всех книг, хранящихся в библиотеке Географического Общества и труды Вавилова не уничтожали. А когда в 1950 году отец умер, библиотека была закрыта и было велено заливать тушью имя преданного анафеме Президента.

Я часто бывала в архиве Географического Общества и, проходя мимо стеклянных дверей библиотеки, видела какую-то странную деятельность. А. Г. Грумм-Гржимайло, историк, сын известного путешественника объяснил мне, что происходит. Он весь был покрыт какими-то волдырями — так сказывалось нервное потрясение.

Помню, одну пресимпатичную старушку-библиотекаршу седую, как лунь. В то самое время, когда Грумм-Гржимайло покрылся волдырями, она стала полупрозрачной, на месте век — водянистые опухоли. Что-то в ней появилось от выеденного яйца. Она лично знала Вавилова, а знать его и не любить было невозможно. Ей надлежало вычеркивать его имя из всех книг, где оно было упомянуто. Что было бы с отцом, будь он жив?

В моей жизни арест Вавилова был поворотным пунктом. Я знала его лично. Общение с ним приподнимало над повседневностью, раздвигало границы бытия. Глядя на него, мы начинали понимать, что значит тютовское "небожитель" — не он был небожителем — вы, в его присутствии. А он был

прост до беспредельности. Его знал и любил весь мир. Он завоевывал сердца, и любовь эта переносилась на Советский Союз. Советскую Россию любили потому, что любили Вавилова.

Знаменитый американский ученый Герман Меллер — первый генетик, указавший миру на радиоактивную опасность, — работал в его институте по его приглашению. Он мне сказал: "Вавилов — это Петр Великий двадцатого века!" Это было и верно и неверно. Ради полноты сходства у Петра Первого нужно было бы отнять множество гнусных черт — тоже был из породы кровавых деспотов. Меллер, по-видимому, имел в виду только положительные свойства.

В 1942 году Вавилов был избран иностранным членом Королевского Общества Англии. Королевское Общество ограничивает число иностранных членов, избираемых во всех странах и по всем специальностям, пятьюдесятью.

Генри Дель — Президент Королевского Общества — говорил Юлиану Гексли, что известие об аресте и смерти Вавилова дошло до Общества только в 1945 году. Неоднократные просьбы сообщить место и время его смерти, посылаемые в Советский Союз по всевозможным каналам, оставались без ответа. Гексли рассказывает о Вавилове в книге "Наследственность. Восток и Запад. Лысенко и мировая наука", вышедшей в 1949 году. Он заключает повествование словами: "Такова была несчастная судьба одного из лучших ученых, какого когда-либо производила на свет Россия".

Убить Вавилова — значило наплевать в лицо мировому общественному мнению, оттолкнуть от себя своих доброжелателей, бесстыдно обнажить тиранию. Сквозь этот арест проглядывалось очень многое — пакт о дружбе с Гитлером, оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, удар в спину Польше, танки на чехословацкой земле, убийство Михозлса, Мейерхольда, Мандельштама, позорные столбы Ахматовой, Зощенко, Пастернака, Солженицына, Сахарова, процессы над писателями и аресты, аресты... Сталин, Хрущев, Брежнев. Арест и уничтожение Вавилова означали, что Советский Союз не нуждается больше в солидарности с прогрессивными силами

мира, не делает ставку на эффективность своей лживой пропаганды. Дипломатия отброшена в сторону за ненужностью.

История показывает, что зло не просчиталось. Насильники, заинтересованные в свидетелях, совершали преступление на глазах, в лучшем случае, притихшей толпы. Одним из притихших был мой отец. Десять лет он жил после ареста Вавилова. Моральный облик страны был на время спасен неисчислимыми страданиями войны с гитлеризмом и вынужденным альянсом с демократиями Запада. Победа деморализовала. Создание атомной бомбы в корне изменило моральный облик планеты. Помню, что отец говорил: "Атомная бомба не может быть создана нашей страной, нужны слишком большие средства". Он был неискоренимым идеалистом. Чтобы создать атомную бомбу, богатства не нужны были. Нужна была власть. Атомная бомба была создана при его жизни.

Отец умирал до дела врачей, до кровавого разгула антисемитизма. Сколько раз я думала: "Какое счастье, что отец умер. Что было бы с ним, будь он жив. На его похоронах я слышала, как один сказал: "Президент Географического Общества, а от Горсовета никто на траурном митинге не выступал. Почему бы это?" "Еврей!" — сказал другой. Это была одна из причин. Главным, почему не выступал на многотысячном траурном митинге представитель власти, было то, что Л. С. Берг оставался честным человеком. Между его высоким положением в иерархии лжи и категорическим императивом морали, которому была подчинена душа усопшего Президента, был полнейший разлад.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЮБИЦЕВ

Сохранить душевную гармонию в те дни могли лишь люди, способные отказаться от почестей, глубоко верующие, по самой своей природе, или же прирожденные хиппи, находящиеся на дне бытия, — те, кто имел свою религию, — баловни судьбы, не властей. Одним из этих счастливых был ламаркист Любищев. Впрочем "ламаркист" — это совсем недостаточно, когда заходит речь о такой грандиозной фигуре.

Он был последователем Платона. Сущее он считал воплощением великой и доброй мысли. О творческой роли естественного отбора в эволюции не могло быть и речи в его системе идей.

Александр Александрович Любищев, зоолог, специалист по защите растений был другом и единомышленником отца. Так же, как Лев Семенович, он ставил средства для достижения цели выше самой цели.

В отличие от Льва Семеновича он ринулся в бой. Он написал фоланты, критикуя Лысенко и Мичурина, и лишь чудом остался на свободе.

Смелость его была беспредельной. Он был гоним и жил на пенсии в Ульяновске. О своей судьбе он не пекся, ездить за границу не стремился, очень радовался, когда его труды удавалось пристроить в печать, но писал их совершенно свободно, без малейшей надежды на публикацию. Эзоповский язык он отвергал. Он был задорно лукав. Но его лукавство ничего общего с маскировкой не имело. Однажды в самолете, на пути из Новосибирска в Ленинград, я читала его критический очерк о Сент-Экзюпери. Это был первоклассный образец самиздата. Однако я чувствовала себя усталой и на самом интересном месте, где речь шла о сходстве сталинизма с гитлеризмом, я заснула. Раскрытая рукопись лежала у меня на коленях. Я сидела у окна, сосед был у меня только один. Самолет делает посадку в Свердловске, на полпути. Я проснулась, когда пассажиры готовились к выходу. Мой сосед, покидая самолет, сказал: "Я видел, что вы читаете". "Значит, вы не бесполезно провели время", — сказала я, испытывая ужас от случившегося. Но ни в Свердловске, ни в Ленинграде на аэродроме, ни потом за мной не пришли.

Любищев писал в Правительство о необходимости организовать институт по изучению идеализма, где приверженцы идеализма могли бы развивать свои концепции. Ему принадлежат глубокие великолепно выполненные исследования по истории науки.

Идеализм, а не материализм прокладывал в прошлом новые пути в науке о природе. Идеалист по самой своей сути

свободней. Он не связан необходимостью познавать механизм явления, причинно-следственную связь вещей. То, что материалист отвергает как несуществующее на том основании, что ему — материалисту, неясно, идеалист берется исследовать, описывать, наблюдать. Так было, в частности, с теорией эволюции. Формулируя ее, Ламарк выступал, как идеалист. Механизм эволюционных преобразований остался ему неизвестен, об отборе он упоминает только раз в своей феноменальной теории происхождения человека.

Проблема целостности живых систем долгое время была достоянием идеализма.

Протесты Любищева не ограничивались наукой. Он написал письмо в Моссовет против установления в центре Москвы, перед зданием прокуратуры СССР, памятника Юрию Долгорукому, якобы основавшему Москву. Сооружение этого памятника было лживой данью со стороны Правительства русскому шовинизму. Любищев привел историческую справку о Долгоруком и предлагал памятник снять. Он получил ответ, что Моссовет согласен с его аргументами и что памятник будет перенесен в другое место, и место это было поименовано. Копии этого письма Любищев разослал по почте своим друзьям. Большая смелость во времена перлюстрации. Монумент остался там, где был "Памятник лжи", как назвал одно из своих стихотворений Иосиф Бродский.

Обаяние Любищева было неповторимым. Когда уже в семидесятые годы он выступал на математическом факультете ЛГУ с докладами, за ним ходили толпы молодежи. Математический факультет предоставлял ему трибуну, а биологи боялись.

Его последний доклад в Ленинграде был посвящен "Номогенезу" Берга. Я выступала в качестве содокладчика оппонента и освещала вопрос с дарвинистских позиций. Теория Дарвина и Ламарка отнюдь не исключают друг друга. Теория систем дает синтез ламаркизма и дарвинизма, позволяет сочетать идею гармонии природы с идеей отбора. Я рассматривала отбор как одну из закономерностей эволюции. И показала; что наследование приобретенных в индивидуальном

развитии признаков, существуй оно, ограничивало бы свободу реализации индивидуальных свойств организма и было бы тормозом эволюции. После моего доклада Любищев сказал: "Если это называется дарвинизмом — я дарвинист".

Моральная сторона вопроса в его представлении главенствовала.

Задолго до выхода в свет прославленной книги Дарвина "Происхождение видов" идея отбора была высказана двумя поэтами — Гете и Баратынским. Гете поэтическим чутьем угадал азартную игру природы. Она стоит у игорного стола и, восклицая *au double*, дублируя ставки, играет смело, счастливо, страстно. Все идет на ставку — животное, растение... "И не является ли сам человек только ставкой на высокую цель?" — спрашивает поэт.

Баратынский воспевает смерть как источник гармонии.

**Дашь пределы ты растению,
Чтоб не застлал угрюмый лес
Земли губительною тенью,
Злак не возрос бы до небес.**

Это тоже идея отбора в ее благородном выражении.

И все же, по самому высокому счету, отбор, выживание наиболее приспособленного, борьба за существование — эти столпы дарвинизма — бесчестие природы. Лучше всех это выразил Осип Мандельштам в стихотворении "Ламарк".

**Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.**

Отвергая отбор в качестве движущей силы эволюции, приверженцы Ламарка вступились за честь природы. Они отказались верить в торжество приспособленчества, в право сильного, в благотворные последствия борьбы: Любищев, Берг, Светлов, Кузин...

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ САХАРОВ

7 августа 1948 года Юрий Жданов, сын А. А. Жданова и заведующий отделом науки ЦК, написал покаянное письмо на имя Сталина. Оно было напечатано в "Правде" в день окончания августовской сессии ВАСХНИЛ. Юрий Жданов каялся в поддержке, оказанной им генетике. Этот потомственный интеллигент нашел великолепную формулировку для практических достижений генетики — дары данайцев, Троянский конь.

Не стало в России ее пищи — гречневой каши, но не это страшило противников генетики, а идеологический ущерб, который мог произойти от урожаев гречихи, достигнутых В. В. Сахаровым чисто генетическими методами.

Под запретом оказались все достижения мировой и отечественной агрономической науки: метод двойной межлинейной гибридизации кукурузы, высокогорное семеноводство и гибридизация сахарной свеклы, полиплоидные сорта картофеля, лекарственных растений, редиса, метод оценки производителей по потомству и многое, многое другое. Отвергалось все, что могло накормить страну и предотвратить голод, отвести от страны позорную необходимость импорта, общую нищету.

В. В. Сахаров начал свою научную работу под руководством Н. Н. Кольцова. Первые его работы были посвящены геногеографии человека. Он занялся базедовой болезнью горцев. Казалось, что болезнь передается из поколения в поколение. Целые аулы, населенные кровными родственниками, поголовно болели ею. В. В. Сахаров показал, что это заблуждение. Причина болезни внешняя — отсутствие йода в питьевой воде. Когда медицинская генетика, независимо от практической значимости ее выводов, была запрещена, Сахаров работал в области химического мутагенеза. Первые в мире открытия в этой области принадлежат ему. Его объектом была дрозофила. Еще при жизни Кольцова он решил заняться гречихой. Он хотел быть полезным своей стране немедленно. Новый сорт был создан с помощью удвоения числа хромосом и отбора.

Во время войны Сахаров из Москвы не уезжал и продолжал в труднейших условиях совершенствование сорта. В 1944 году его рано побелевшая голова рисовалась на фоне цветущего поля гречихи. Никогда не забуду, как он сеял ее на береку Оки, на биостанции своего института в Кропотове.

В 1948 году его выгнали отовсюду. Он жил с матерью и незамужней сестрой. Сестра стала единственной кормилицей семьи. Она умерла от сердечного приступа на лестнице. Несколько лет он был безработным. Жил в коммунальной квартире, а каково безработному в коммунальной квартире, я знаю отлично — сама годами так жила. Соседи у Сахарова были омерзительные. Владимир Владимирович рассказывал мне, что в те дни он похудел. Он это говорил, когда времена переменялись, и он снова работал в Академии. /Стал он к тому времени не то чтобы полным, а плотным /. Он говорил обо всем этом с большим юмором. Он любил поесть. Я сама привозила из Ленинграда копчушки — рыбки такие маленькие, копченые, золотые. Один раз привезла очень мелкие. "Болтали, наверное, направо и налево в очереди и не смотрели, что продавец на весы кладет", — говорил он. Я и в самом деле в очередях любила с народом поговорить: "Любите в очереди стоять, — говорила я стоящим, — это русское свойство. Католики в церквах сидят, лютеране сидят, евреи, магометане, все сидят, а православные стоят".

Рокфор Сахаров не любил. Он очень смешно рассказывал, что такое рокфор, как его сестра рокфор сервировала, а кошка их — "кассириша" — сзади стояла и осуждающе принохивалась, а когда кусочек — не сыра даже, а серебряной обертки упал, она подошла и стала его зарывать.

Он говорил на великолепном русском языке, знал в деталях историю России. Москвич, он ходил по Ленинграду и рассказывал историю каждого дворца, каждого мало-мальски знаменитого дома. Он был холост. В маленькой комнате, где за большим обеденным столом он принимал гостей, на стене висела довольно большая фотография молодой женщины такого обаяния, такой изысканной прелести, какие навсегда оставляют след в памяти. Его одиночество и эта фото-

графья казались мне звеньями одной цепи событий, видимо, трагической, о которой я никогда не расспрашивала.

Но В. В. не был неразборчив в своих привязанностях. Люди оборачивались к нему лучшей стороной, и он верил им. Когда в 1964 году Лысенко был разжалован в академики, как говорил В. В. Сахаров, 16 генетиков получили свои давно заслуженные степени доктора наук без защиты диссертации. Сахаров был в числе этих 16. Поздравляя его, я написала: "Есть присвоение степени, делающее честь самой степени, повышающее ее почетность. Вы — этот тот самый случай".

Умер Владимир Владимирович 9 января 1969 года. Еще при Сталине, другой страстотерпец, А. Р. Жебрак, помог ему, и Сахаров стал доцентом Кафедры лекарственных растений фармацевтического института. Он читал фармацевтам ботанику. Тогда появилась новая социальная категория людей — "сахаровские птенцы". У себя дома Владимир Владимирович обучал фармацевтов генетике. Многие из нынешних молодых генетиков вышли из подпольного университета, единственным профессором которого был доцент кафедры лекарственных растений фармацевтического института.

В 1944 или 1945 году Сахаров еще работал в Институте, созданном на руинах Кольцовского института. Я ходила с кустом гречихи, намного превышающим мой выше среднего рост, к вице-президенту АН СССР Л. А. Орбели и к академику Г. М. Кржижановскому, прося поддержки. Леон Абгарович Орбели с грустью сказал: "Будь она создана мичуринскими методами, вашего Сахарова сделали бы товарищем президента республики, а так ничего не выйдет".

Глеб Максимилианович Кржижановский говорил: "Велика Федула, да дура!" Это означало — я бессилена.

В 1943 году Вавилов был уже мертв — он умер 26 января 1943 года — и лежал в братской могиле во дворе тюрьмы в Саратове, а мы думали, что он, может быть, еще жив. Я попросила Глеба Максимилиановича поговорить со Сталиным. Тогда он прямо сказал, что бессилена.

В 1930 году ему была поручена рецензия на технический проект Рамзина. Проект был объявлен вредительским, Рам-

зин отдан под суд. Ему грозила смерть. Кржижановский дал положительный отзыв проекту. Сталин сказал на заседании одно только слово: "Рассмотрим", — и ухмыльнулся сардонически, как рассказывал мне Глеб Максимилианович. После этого Кржижановский был изгнан из правительства, Рамзин приговорен к расстрелу. Он и его мнимые соучастники были приговорены к смерти судом по требованию миллионов трудящихся, которые на митинге голосовали за смертную казнь.

Мне было 17 лет, и я — студентка первого курса ЛГУ — была на таком митинге, сидела ни жива ни мертва. Руку не поднимала ни за, ни против, ни вслед за вопросом кто воздержался (понимая, какое беззаконие творится у меня на глазах). Рамзин, однако, расстрелян не был. Приговор имел "воспитательное значение" для миллионов трудящихся. Ему была впоследствии дана сталинская премия. Кржижановский, однако, в правительственные сферы возвращен не был. "Я уцелел случайно", — сказал он мне как-то раз.

В течение пятилетнего срока, который судьба отмерила Сахарову после того, как генетика была восстановлена в правах, он пытался внедрить свой сорт гречихи в производство. Препграда вставала за препградой. Окрестные с Кропотовской биостанцией колхозы еще с войны сеяли его семена. Сортоиспытание было целиком во власти лысенковцев. Запороть сорт при желании ничего не стоило. Насколько мне известно, гречиха Сахарова так и не получила санкции.

ТРОФИМ ДЕНИСОВИЧ ЛЫСЕНКО

Было это в 1951 году. Будучи выгнана отовсюду, я в это время писала книгу о путешествиях моего отца Л. С. Берга по озерам Сибири и Средней Азии и ходила в Ботанический институт АН СССР знакомиться с среднеазиатской флорой. Один раз застала там конференцию. Был перерыв. В вестибюле у столов стояли люди — книжный магазин оборудовал выставку новых книг. Два пожилых ботаника оживленно разговаривали. Отлично помню всю сцену. Один рассказывал

другому о кукушке. Вот это самое, что она родится от пеночки. Я прислушалась. Они заметили и отошли — сталинское время было.

Через некоторое время, на даче у опального уже тогда Леона Абгаровича Орбели я сказала ему, что анекдоты предсказуемы, вот про кукушку можно было предвидеть. Он на меня печально так посмотрел и ничего не сказал. А потом, в другой раз, он при мне рассказывал о докладе Лысенко, когда малограмотный агроном, выпускник Сельскохозяйственного института города Умани, развивал свои соображения по общей паразитологии. Огромный зал не вмещал всех желающих, громкоговорители были установлены во всех коридорах здания. Но академики, конечно, все были в зале. Леону Абгаровичу особенно запомнилось, как аплодировал Евгений Никанорович Павловский — действительный член двух Академий — Академии Наук и Академии Медицинских Наук, зоолог и паразитолог, директор Зоологического института АН СССР.

О кукушке подробно пишет Дарвин в "Происхождении видов". Есть специальная книга, посвященная гнездовому паразитизму у птиц, изучены генетические и экологические основы выбора кукушкой гнезда для своего потомства. Но что такое наука для Трофима Денисовича Лысенко. Он говорил, что пеночка порождает кукушку, если она сама выросла на необычном для нее рационе — выкормлена родителями — мохнатыми гусеницами. Вы думаете, велись наблюдения над кукушкой и пеночкой? В сущности, не нужны были никакие наблюдения: Лысенко говорил, Павловский аплодировал.

Е. Н. Павловский зачислил в свой Институт академика И. И. Шмальгаузена — директора Института эволюционной морфологии животных и заведующего кафедрой дарвинизма Московского университета, когда тот лишился работы, и до конца своих дней Шмальгаузен был сотрудником этого Института. Он умер в 1963 году, через 15 лет после августовской сессии ВАСХНИЛ. К преподаванию его так и не допустили. Чтобы иметь возможность в 1951 году зачис-

лить преданного анафеме академика, Павловский аплодировал Лысенко.

Впрочем, поддакнул он Лысенко и в печати, — очень постыдно. Об этом у меня и был с ним разговор, когда он стал Президентом Географического Общества — шестым Президентом после того, как пятый — мой отец — оказался не в состоянии дальше жить под пятой сталинизма.

Я не выдержала и пару теплых слов ему сказала. Разговор начал он, ему хотелось оправдаться, а я была фигура чисто приватная. Он хотел получить одобрение своему "подсюсюку", но не получил.

Не знаю, почему кукушка, рожденная пеночкой, показалась мне анекдотом, ведь она вполне вписывается в картину мичурунизма. Я старалась найти хоть что-то разумное в этой свистопляске анекдотических нелепостей.

В 1945 году на юбилейной сессии Академии Наук СССР произошла встреча академика Лысенко и прославленного английского ученого Юлиана Гексли — внука Томаса Гексли — великого соратника Дарвина. Юлиан Гексли — эволюционист, деятель сельского хозяйства государственного ранга. Лысенко докладывал, Гексли и Эшби слушали, Элеонора Давидовна Маневич — биолог, в равной мере владеющая обоими языками, переводила. Зал был полон. Зал Биоотделения АН СССР, где происходило заседание, — великолепный светлый амфитеатр. За столом, покрытым красным сукном, стоял Трофим Денисович Лысенко и сидели два академика, — физиолог растений Келлер и микробиолог Гамалея. Их очень разные лица не выражали и тени неловкости. Заинтересованности тоже. Особенно эпичен был крупный породистый Гамалея со своей косо выдающейся челюстью рядом с седеньким Келлером.

Лысенко был удивительно похож на Гитлера. Даже прядь прямых волос, падающая на лоб, та же. Он показывал снопы и говорил хриплым лающим голосом, я помню только один обрывок одной фразы: "Этот признак считается доминантным, а этот вот рецессивным, здесь, к сожалению, еще есть те, кто понимают, что это значит..." Дальше я слушала, но не

слыхала. Вавилов уже более двух лет лежал в братской могиле во дворе Саратовской тюрьмы. Софья Леонидовна Фролова и Лидия Петровна Бреславец — знаменитые цитологи с мировым именем — не пришли на заседание. Как говорила мне потом Лидия Петровна, чтобы не быть свидетелями профанации своей Родины и своей науки перед иностранцами.

Доклад Лысенко я не помню, но отлично помню вопросы, которые задал ему Юлиан Гексли, и ответы Лысенко. Один из вопросов гласил: "Если нет генов, как объяснить расщепление?" "Это объяснить трудно, но можно, — сказал Лысенко. — Нужно знать мою теорию оплодотворения. Оплодотворение — это взаимное пожирание. За поглощением идет переваривание, но оно совершается неполностью. И получается отрыжка. Отрыжка — это и есть расщепление".

Слова Лысенко Юлиан Гексли приводит в своей книжке. В моем сознании все это не укладывалось. Я пошла к Шмальгаузену. Он, как и Фролова и Бреславец, на такие сборища не ходил. Я повторила слово в слово сказанное на заседании Лысенкой и спросила, что это значит. — "А только то и значит, — сказал Шмальгаузен, — яйцеклетка и спермий ели, переваривали, отрыгивали"...

Меня занимал вопрос, почему лысенковщина дошла до такой крайней степени духовного обнищания. Финал не был случайностью. Цепь событий изначально строго детерминирована. На входе — возведение на пьедестал невежды. Дальше размер зарплаты и высота пьедестала становятся критериями истины. Не может же в самом деле действительный член Академии Наук СССР, избранный по биологическому отделению, получающий зарплату, по крайней мере в двадцать раз превышающую зарплату уборщицы /не считая льгот, увеличивающих его доходы вдвое/, не знать биологии. И нелепость за нелепостью получает апробацию. Чем смелее проекты, тем быстрее продвижение вверх, чем выше чин, тем более дурацкий проект. На выходе — яровизация, создание удойной породы скота за одно поколение в расчете, что "отрыжки не будет" и гибриды будут сочетать желательные свойства родителей и передадут их потомкам, всем без исключения.

Хлеб имеет существенное отличие от атомной бомбы. Без бомбы дворцу не обойтись, хлеба хватит, а те, кто за пределами дворца, подтянут пояса во имя блага будущих поколений.

Меня часто спрашивают — как сложилась позднее судьба Лысенки? Это невежественный вопрос. Его судьба должна быть ясна каждому, кто мало-мальски знаком с положением вещей в Советском Союзе. Он был свой — этим сказано все. Он беспартийный, по происхождению кулак. Первой яровизации он подверг мешок озимой пшеницы, спрятанный от конфискации его папашей. Это никого не тревожило. Важен был уровень верноподданничества.

В 1956 году В. П. Эфроимсон исчислил ущерб, нанесенный Лысенкой сельскому хозяйству, в рублях. Он отнес фолиант Генеральному Прокурору СССР с предложением привлечь академика к уголовной ответственности. Эфроимсон тогда только что был выпущен из Джезказгана, был безработным. Фолиант был принят. Процесс, как известно, не был возбужден. Потом Лысенко директорствовал в своем институте, вершил дела двух Академий и благоденствовал.

Много есть причин, почему генетика не погибла окончательно под сапогом лысенковщины. Одна из них — бесстрашие таких людей как В. П. Эфроимсон, И. А. Рапопорт, Б. Л. Астауров, З. С. Никоро, М. Л. Бельговский, В. С. Кирпичников, В. В. Сахаров, А. А. Малиновский. Бесстрашие перед лицом смерти. Она ждала их, чтобы преумножить могилы, в которых лежали их друзья, учителя, те, кому надлежало подражать. Но могилы, даже затерянные, и может быть, именно затерянные, обладают великой силой. Они — барьер на пути всеобщей деморализации. Генетика не погибла в Советском Союзе, потому что за нее в застенках погибли Вавилов, Карпеченко, Левит, Левитский, Агол, потому что многие приняли за нее мученический венец, пошли на неизвестное прозябание, отказались ради нее от доблести.

**Все, все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
Бессмертья может быть залог.**

ЭДНА БРИССЕНДЕН

Протесты студентов в те годы были крайней редкостью. Сталинские времена. Мне известно только два случая. Когда в 1940 году был арестован заведующий Кафедрой генетики растений Ленинградского университета профессор Г. А. Карпеченко, одна из студенток в знак протеста подала заявление об отчислении и была отчислена.

В 1948 году после августовской сессии ВАСХНИЛ один студент Медицинского института в Ленинграде протестовал против увольнения профессора Кафедры общей биологии Ивана Ивановича Канаева — известного генетика, историка науки. Студент был арестован, получил свои десять лет лагерей, был реабилитирован в хрущевское время, стал генетиком — специалистом по генетике психических заболеваний. Он считает арест психической травмой, способной провоцировать заболевание. О нем молчу.

Студентке ее смелость сошла с рук. Отчислили и только. Двумя годами позже она вместе со своей матерью умерла в блокаду от голода и холода. Ее звали Эдна Борисовна Бриссенден. Я знала ее хорошо, потому что она была моей ученицей.

В 1937 году ко мне на кафедру генетики и экспериментальной зоологии ЛГУ привели девочку — школьницу, чтобы я /аспирантка этой кафедры/ обучила ее генетике. Она была ученицей восьмого класса школы — пятнадцать лет ей, значит, было — и студенткой университета для школьников. Был такой. Всякий школьник при желании мог посещать его по вечерам. Оказалось, что девочка по-русски говорит с сильным акцентом. Первая фраза ее была: "Мне нужно мышей". "Зачем?" — "Я хочу заниматься генетикой мышей". "На нашей кафедре никто мышами не занимается, но мы могли бы раздобыть их для вас". "Вы можете достать чистые линии?" — спросила она. Я раскрыла глаза. Вопрос показывал, что дитя хорошо знает генетику и знает, чего хочет. Я предложила ей заняться под моим руководством дрозофилой, и она согласилась.

Моя первая работа по генетике популяции, напечатанная в "Журнале Общей биологии", была написана в 1938 году в соавторстве с ней. Отнюдь не боясь испортить похвалами ребенка, я сказала ей: "Придет время, и я буду гордиться соавторством с Вами". Написав это "с Вами", я поставила по ошибке заглавное В".

Я горжусь соавторством с ней, но причина моей теперешней гордости не та, что я имела в виду тогда. Я предрекла ей будущность великого ученого. Это не состоялось. Ее величие — в бесстрашии.

Я спросила ее много позже, зачем ей нужны были мыши. Она раскрыла учебник генетики Синнота и Дена и показала мне картинку — результат скрещивания серых и белых мышей-альбиносов. Во втором поколении этого скрещивания, в потомстве серых гибридов первого поколения, появляются белые мыши-альбиносы. Но их только одна четверть. Три четверти — серые: "Я хотела помочь белым мышам передавать свои признаки потомству".

Мать ее не была красавицей, она же отличалась поразительной красотой. Огромные серые глаза, благородные линии носа.

Она приехала, вернее, ее привез в Ленинград из США вместе с ее матерью Николай Иванович Вавилов. Мать ее — американка — специализировалась в США по русскому языку, была членом коммунистической партии, участвовала в протесте против казни Сакко и Ванцетти и лишилась работы. Вавилов привез ее в качестве секретаря. Он совершенно серьезно говорил, что она — гений.

Они жили в крошечной квартирке на Невском, на углу Мойки, в Строгановском дворце, в одном из зданий Института Растениеводства, директором которого был Вавилов. Жили они под крышей. Когда-то здесь жила дворцовая челядь. Но по тем временам это было роскошно — не в коммунальной квартире ведь. Окна выходили на Невский. Прихожу к ним однажды. На стене висит шерстяной коврик, и на нем изображена большая красная свастика. А дело было в 1939 году. До пакта дружбы с Гитлером. "Снимите коврик сейчас

же, — говорю, — через окно могут увидеть". "Нет, — говорит Эдна, — мама коврик снимать не будет. Это коврик не нацистский, а индийский, а мы против угнетения народов".

В 1937 году, летом, я хотела взять ее с собой в экспедицию, и начальник экспедиции обещал мне включить ее без оплаты. Мы сговорились, что он сделает вид, будто с оплатой, а деньги, которые он израсходует, внесу я. Помогать ей было дело не легкое. Гордость ее была непомерна. Всякую помощь она рассматривала как подачку. У нее была кожаная курточка — для ленинградской зимы совсем неподходящая, — и мы на Кафедре решили надеть на нее мой шерстяной иранский джемпер очень толстый, хоть на время просили взять. Куда там! Тогда с Муретовым, Грацианским, Розенштейном /позже все погибли на войне/ решили силой натянуть на нее джемпер и ее курточку. Шутили, но действовали решительно. Эдна отошла к двери, молниеносно сняла курточку, выкинула джемпер и ушла.

Мы с начальником экспедиции решили ее обмануть. Но оказалось, что начальник экспедиции и не собирался ее брать, а мне обещал, чтобы заполучить в состав своей экспедиции меня. А я ехала, чтобы помочь ей. Эдне он объяснил, что средства урезаны и он не может финансировать ее участие в экспедиции. "Как вы могли поверить ему? — спросила пятнадцатилетняя девочка. — С первого взгляда видно, что лжец!" Впрочем, не будем строго судить этого начальника. Ни один разумный человек /себя к их числу не причисляю/ не рискнул бы взять американскую подданную в экспедицию: 1937 год! Этим сказано все.

Когда мы пришли на завод фруктовых вин и попросили директора разрешить нам ловить дрозophil в бродильном цехе, он, не отвечая, снял трубку и позвонил в НКВД. Он спрашивал, как быть. При этом он сильно дергался, будто в пляске святого Витта, и мигал одним глазом. После телефонного разговора он дал разрешение ловить мух.

В начале 1939 года — я еще была в аспирантуре в Ленинграде — Эдна пришла на кафедру и сказала, что им с матерью не продлевают визы, в гражданстве отказывают, и, видно,

придется вернуться в Америку. Она была в отчаянии. Я сказала ей, что им, наверное, лучше уехать. Она — гордая Эдна Бриссенден — уткнулась носом в стенку и сдавленным голосом сказала: "Убирайтесь к черту. Тут я буду учиться в Университете, а там я буду мыть посуду". "Нет, — сказала я, — там вы будете живы, а здесь не останется от вас ни праха, ни пыли".

В 1939 году она поступила в Университет. До поступления она работала в Зоологическом институте лаборантом. Став студенткой, она лишилась возможности зарабатывать. Стипендию ей не давали. Вавилов уже не был директором института и не имел возможности оплачивать секретаря. Мать ее получала как библиотекарь иностранного отдела библиотеки Института Растениеводства сорок рублей в месяц.

В 1940 году арестовали Вавилова и в том же году Карпенченко. В знак протеста Эдна ушла из Университета. Она говорила, что в Америке, в ненавистной ей Америке, ни один студент не остался бы. Я спросила ее, чем же она будет заниматься. Она отказалась ответить. Сказала, что есть вещи важнее науки.

Я жила в то время в Москве, летом 1941 года она должна была приехать ко мне в гости, но началась война. В конце 1941 года или в начале 1942 они обе — она и ее мать — погибли.

РОЗА АНДРЕЕВНА МАЗИНГ

Роза Андреевна Мазинг была ассистенткой Университета в то время, когда я еще училась. Кафедра генетики Ленинградского университета была создана в 1925 году Юрием Александровичем Филипченко. Роза Андреевна была его ученицей.

Ю. А. Филипченко — биолог-энциклопедист. Теория эволюции и биометрия, генетика и систематика были в равной мере его специальностями. Созданную им Кафедру он назвал кафедрой генетики и экспериментальной зоологии. Но он не

ограничивал себя зоологией. Он занимался генетикой и селекцией количественных признаков пшениц и уток, создал сорт пшеницы для Ленинградской области под именем "Петергофка". Его интересовало наследование одаренности. На основе анализа родословных выдающихся людей России он пытался выявить относительную роль наследственности и воспитания в формировании творческой личности. Выводы его были самого гуманистического и демократического свойства.

У него было множество учеников, и они его боготворили. Ему было пятьдесят лет, когда летом 1930 года он умер.

Когда я пришла на кафедру, его не было. С деревянными лицами, набывчившись, сидели его ученики и новый заведующий кафедрой Александр Петрович Владимирский и молчали. А пришлые партийные юнцы затапывали в грязь имя их учителя и кумира — "мракобеса", "расиста", "представителя буржуазной интеллигенции". Таково мое первое впечатление от Университета, от генетики. Это была грохочущая кузница, где выковывались будущие предатели. И герои — подвижники. Шла поляризация.

Розу Андреевну я на этих заседаниях не помню — она скорее дала бы отрубить себе голову, чем выступила против мертвого. Она оставалась на кафедре до смерти Владимирского в 1939 году и работала с дрозофилой. Она обнаружила повышенную жизнеспособность у мух, содержащих в скрытом виде смертоносную мутацию — явление сверхдоминирования. Очень важное открытие. Позволяет понять генетические причины гибридной силы. Эта ее работа и подверглась профанации со стороны Лысенко. На общем собрании Академии Наук, выступая перед академиками всех специальностей, он позволил себе такую выходку, что при дамах присутствовавшие отделивались только намеками, а бедной Розе Андреевне и намекнуть было нельзя. Когда же дошло до нее, что квинтэссенцией лысенковской шутки была матерная брань, она очень огорчилась, что есть такое явление как матерщина. До того она не знала.

Роза Андреевна происходила из очень интеллигентной

семьи. Прадед ее был детским врачом в семье Пушкина. Все братья — профессора. Между прочим, она задалась вопросом о происхождении матерной брани и выяснила у фольклористов, что матерщина — политический эвфемизм и восходит ко временам татарского ига. /Как и лысенковщина, замечу от себя, ибо причина ее — привычка быть рабами, традиция угодничества./

Роза Андреевна все же решила узнать, что кроется за странными недомолвками. Пригласив меня в гости, она с глаза на глаз стала расспрашивать, в чем дело. Мухи, с которыми работала Роза Андреевна, черные, цвета эбенового дерева. Строгость эксперимента требовала наличия маркирующего признака. Маркером служил черный цвет тела, цвет эбенового дерева /"эбони" — по международной английской номенклатуре/. Латынь — международный язык зоологов и ботаников, английский — генетиков-дрозофилистов. Сотни мутаций этой знаменитой мухи носят английские имена. Эбони — одно из этих имен. "Вы пишете, — сказала я Розе Андреевне, — что девственные самки происходят из линии эбони. Так вот, Лысенко и сказал: "Да какие же они девственные, если они ...", — и тут он на русский манер произнес название линий. "Так ведь, если по-русски прочитывать название самок, то получится что-то непонятное, — говорит Роза Андреевна, — я знакомых спрашивала, на бумажке писала, никто этого слова не знает. Вот я вам напишу". "Да врут они, стесняются вам сказать, — говорю, — как это так: я знаю, а они не знают". Она взяла бумажку и написала — "ebony" — английское слово, прочитанное, как если бы оно было написано кириллицей. "Роза Андреевна, — говорю я ей, умирая со смеху /я уже начала "умирать", когда она про бумажку сказала/, — неужели вы никогда не слышали, как извозчики ругаются, когда лошадей понукают?" "Слышала три слова каких-то, но разобрать никогда не могла", — говорит Роза Андреевна.

Я рассказала о выходке Лысенко моему отцу. Он сказал, что отказывается верить. Но печаль, с которой он говорил, показывала, что он поверил. Это было в 1939 году.

Двадцать лет спустя, в 1959 году, я сама стала жертвой подобного выпада со стороны Лысенко. Не называя моей фамилии, он процитировал фразу из моей статьи, где речь шла о генетических основах эволюции. Я употребила выражение "генетический дрейф". Дрейф — вещь общеизвестная — сдвиг в численном соотношении прежнего и нового изменившегося гена среди представителей вида. О дрейфе говорят, когда речь идет о случайных сдвигах, совершающихся без отбора. Если в данном поколении 35 процентов ленинградцев имеют карие глаза, а в следующем — 40, значит, произошел сдвиг — дрейф. На уличном жаргоне дрейф значит страх, постыдное бегство. Сдрейфить — струсить. "Генетический дрейф!" Лысенко нужно было только произнести эти слова, и все понимали, что речь идет о страхе, который он нагнал на генетиков. Сам он от страха, испытанного им, когда умер великий вождь народов, к тому времени оправился, новым разжалованием не пахло. И вот, фактический убийца Вавилова бравировал своей способностью внушать страх.

Розы Андреевны к этому времени уже не было в живых, а то мы бы с ней обменялись жизненным опытом.

В 1939 году новый заведующий Кафедрой генетики ЛГУ М. Е. Лобашев, сменивший покойного Александра Петровича Владимирского, отказался сотрудничать с нею. Ее взял к себе в Институт физиологии АН СССР академик Л. А. Орбели.

Издеваясь над генетиками на одном из общих собраний Академии Наук, Лысенко однажды сказал: "Вот мухи у них в почете. Особенно безглазые. Посудите сами, кому нужна безглазая муха". — И тут встал великий физиолог-эволюционист Леон Абгарович Орбели и сказал, что безглазые мухи нужны ему, чтобы изучать сравнительную физиологию зрения.

В 1948 году Орбели было предложено выкинуть дрозophilу из числа объектов, а Розу Андреевну уволить. Она рассказывала мне о заседании Ученого Совета, где ее шельмовали, чтобы выгнать. Все, за исключением двух, были за увольнение. Одним из противников увольнения был директор института Л. А. Орбели, другой — секретарь партийной организации института.

Орбели встал, постоял, помолчал и сказал: "Не уволю. Природу переделывать собираемся, а человека увольняем. Людей надо направлять по правильному пути, а не карать, вот и направим". И Роза Андреевна осталась в институте. Что она делала после августовской сессии ВАСХНИЛ, не помню. Наверно то же, что и до нее. Она оформляла докторскую диссертацию на тему о генетических основах поведения насекомых.

В 1950 году Лысенко оплатил Орбели за поддержку, которую тот оказывал генетикам, когда был Вице-президентом АН СССР и директором академического института. На сессии Академии Медицинских Наук СССР Л. А. Орбели был "разоблачен" и с поста директора его сместили. Когда узнала об этом Роза Андреевна, у нее начался приступ грудной жабы, и она умерла.

М. Е. Лобашев был в это время сотрудником Орбели. Его изгнал в августе 1948 года с поста заведующего кафедрой генетики Н. В. Турбин, ярый лысенковец и погромщик, — ныне президент Общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова, перестроившийся на глазах публики, разучившейся удивляться чему бы то ни было.

М. Е. Лобашев сказал на похоронах Розы Андреевны: "Ее жизнь и смерть пример тому, как одинок может быть советский человек".

Он мне это сам рассказывал, так как ему за это очень попало. Он — член партии — должен был знать, что советский человек никогда и ни при каких обстоятельствах одинок не бывает. Докторскую диссертацию Розы Андреевны один из ее братьев — профессор, бросил в припадке страха в печь.

А Леон Абгарович Орбели, когда на заседании биологического отделения Академии Наук его смещали с поста директора Института за переоценку роли высшей нервной деятельности в физиологических отправлениях человеческого организма, сказал, что он напишет отречение от своей установки, так как именно на этом заседании, на примере своих коллег, убедился, что желудок оказывает сильное влияние на мозг.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

Н. В. Тимофеев-Ресовский представлялся мне тихим русским интеллигентом. Поскольку он жил в Германии и я никогда не видела его, а только читала его работы, написанные на немецком языке. Когда он появился в Москве, выйдя из заключения, и мы познакомились, оказалось, что это могучая русская натура, полная буйной энергии. Могучий голос, необычайная подвижность, исключительный артистизм. Он мгновенно делался центром внимания и поклонения в любой компании. Я спросила его, почему это он казался мне тихим русским интеллигентом, когда я читала его работы. Он сказал: "Потому что на немецком языке ничем другим, кроме как тихим русским интеллигентом, быть нельзя".

Он говорил, что никакого классового антагонизма не существует — на одном полюсе аристократ и пролетарий, на другом — мещанин. Он сочетал в себе пролетария и аристократа. Страх — атрибут мещанства — был ему абсолютно чужд.

Выйдя из заключения, Николай Владимирович жил сперва в Свердловске, потом в Обнинске, недалеко от Москвы, и изредка бывал в Ленинграде. Городским транспортом он не пользовался, либо ходил пешком, либо ездил в такси. Пешком он ходил не так, как все люди. Мы с Еленой Александровной — его женой — шагаем нормально, а он бежит впереди, останавливается и бежит обратно, добежит до нас и опять вперед.

Советских степеней у Николая Владимировича не было, членство двух европейских Академий — Немецкой и Итальянской — советские бухгалтерии при начислении зарплаты в расчет не принимали, и деньги шли самые мизерные. Но натура была такова — давать, дарить, одаривать направо и налево.

В 26 лет он получил Рокфеллеровскую стипендию и уехал в Берлин в Институт по изучению мозга. Он стал директором этого Института, всемирная слава сама пришла к нему — он за ней не гнался. Он оставался в Германии, когда к власти пришел Гитлер. Его старший сын был уничтожен за участие

в сопротивлении нацизму. О его смерти догадывались, ничего не знали, надеялись, ждали. Самого Николая Владимировича не трогали.

Жертвами опричнины становятся четыре категории людей: первая категория — светочи, их уничтожение заставляет притихнуть большую группу людей; вторая — свидетели преступлений, вовлеченные в кровавую кухню политики, мавры, которые сделали свое дело; третья — владельцы благ, соблазняющих опричников; четвертые — изначально запуганные, молчальники, с их помощью разыгрывают процессы над несуществующими заговорщиками.

Николая Владимировича могла погубить принадлежность к первой категории, но не погубила. Ни к одной из трех других категорий он не принадлежал. Известный шведский генетик Арне Мюнциг, приехавший в Ленинград в составе какой-то делегации, рассказывал мне, что он был в Германии в 36 или 37 году на конференции. Заседание было прервано. Транслировалась речь Гитлера. Все должны были стоя и молча слушать. И все стояли, и среди всеобщего молчания раздался громовой голос Николая Владимировича: "Wann wird denn dieser Wahnsinn endlich aufhören?" /Когда, наконец, прекратится это безумие?/Он говорил на берлинском диалекте, aufhören звучало ufhören. Таких не сажают. С ними навозишься. Довольно молчальников.

Когда в 1945 году Берлин пал, институт Николая Владимировича оказался в Советском секторе. Он мог драпануть на Запад, но за ним не было никакой вины перед Россией, русского гражданства он не был лишен, судьба его сына была неизвестна, и он ждал своих. Год его не трогали. В 1946 году к нему явился Н. И. Нуждин — одна из самых мерзких фигур в паноптикуме Лысенко /в прошлом сотрудник Вавилова, а теперь, в 1946 году — Лысенко/, взял линии дрозофил, попросил завернуть ящики с пробирками, где помещались живые мухи, не в газеты, а в оберточную бумагу, и уехал. После этого Николая Владимировича взяли. В лагере он погибал от пеллагры, почти ослеп, он рассказывал при мне В. П. Эфроимсону, что такое пеллагра: если вам per os вольт чайную

ложку с тремя чайками, она тут же со всеми тремя чайками выйдет из вас per rectum. Все это говорил он с чрезвычайной бодростью. Какими-то неведомыми судьбами после двух лет пребывания в лагере Ресовского отыскали — по приказу сановных тюремщиков. Тюремщики, не сановного его, уже полумертвого, привезли в Москву, где его как-то ужасно лечили. Кажется, слепота его была следствием не столько болезни, сколько лечения, и отправили в шарагу, где он мог заниматься наукой.

Его жена с младшим сыном приехала к нему в Сибирь из Берлина, где она работала в Университете у Нахтсгейма. Они пробыли в заключении 8 лет. Елена Александровна привезла в Сибирь линии дрозофил. Но вскоре, в 1948 году они были по строжайшему приказу свыше уничтожены.

В 1956 году Николай Владимирович был реабилитирован. Я присутствовала на его докладе в Москве. Он говорил о результатах своих исследований, выполненных им в шараге. Занимался он радиостимуляцией растений.

На свободе, в Большой зоне, его научная деятельность приобрела грандиозный размах. Он сперва обосновался в Свердловске. На Южном Урале, в сказочно красивом месте, у него была Биостанция "Миассово", оазис в пустыне запуганных. Населяли оазис почти одни бывшие зеки.

Биостанция стала местом паломничества ученых всех специальностей. Работали там с утра до поздней ночи. Научный семинар заседал каждый вечер. Потом Н. В. Тимофеев-Ресовский перебрался в Обнинск Калужской области и организовал в Институте медицинской радиологии лабораторию радиационной генетики — целый институт, великолепно функционирующий, чрезвычайно дифференцированный.

Этому детищу, взлелеянному на склоне лет, суждено было погибнуть. Разогнали по прямому указанию КГБ. Даже благовидного предлога не потребовалось. В 1971 году Николай Владимирович стал безработным. Мировое общественное мнение на этот раз не смолчало. Лауреат Нобелевской премии Дельбрюк приехал в Союз, чтобы говорить с Президентом АН СССР М. В. Келдышем о Тимофееве-Ресовском. Николай

Владимирович был зачислен консультантом в Институт космических исследований АН СССР. Распоряжение шло из высших сфер.

Друзья уговорили Николая Владимировича защищать докторскую диссертацию. Ботанический Институт Академии Наук СССР принял ее к защите и защита состоялась. Было это, кажется, в 1960 году, Ресовский еще жил в Свердловске. Однако Высшая Аттестационная Комиссия не собиралась присваивать ему степень. Хрущев был у власти, лысенковщина мужала снова, и так бы он не получил степени доктора, не случись в 1964 году малой октябрьской революции, как называли мы смещение Хрущева.

Снова, как в 1953 году, когда умер Сталин и ждали крутого поворота, лысенковцы задрожали. В газетах появлялись статьи за статьей в защиту генетики. Поворот был круче, куда круче, чем десять лет назад. Годы царствования Хрущева, когда державные бразды были ослаблены, дали возможность ученым других специальностей — физикам, химикам, математикам, кибернетикам — выступить в защиту генетики. И теперь, наконец, было спущено указание восстановить ее в правах.

И вот Высшая Аттестационная Комиссия, вся насквозь пронизанная метастазами лысенковщины, присвоила степень доктора биологических наук действительному члену двух европейских Академий Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому.

В 1966 году я работала в Институте цитологии и генетики АН СССР в Новосибирске и была членом его Ученого Совета. На заседании Совета мы выдвигали кандидатов для выборов в состав Академии. Когда называли кандидатов по генетике, я сказала, что следует выдвинуть Тимофеева-Ресовского. Ю. Я. Керкис сказал, что его следует выдвинуть, но не по генетике, а по биофизике. Дошло дело и до биофизики. Прелестная Нинель Борисовна Христолюбова сказала, что Ресовский будет ее кандидатура. Но тут попросила слова Галина Андреевна Стакан и заметила, что он, кажется, совершал непатриотические поступки. А Ольга Ивановна Майстренко

заявила, что он жил в фашистской Германии. А Юлий Оскарович Раушенбах сказал, что он вообще отказывается выдвигать такого человека в академики и замдиректора Привалов к нему присоединился.

Тогда взяла слово Зоя Софроньевна Никоро. Она сказала: да, Николай Владимирович жил в Германии и работал в институте Рокфеллеровского Фонда, и он не вернулся. "Но посмотрела бы я на любого из тех, кто сейчас здесь выступал, как бы он вернулся. Вернись он, и нам не о чем было бы здесь разговаривать. С вероятностью в сто процентов он был бы уничтожен. Это Бухарин мог решиться уехать в Париж, походить по свободной земле, подышать свободным воздухом и вернуться, зная, что он умрет не за Родину, а как враг ее народа. Николай Владимирович не вернулся, но он не предавал Родину, он был светочем ее науки, ей он служил. Предавали Родину те, кто предавал ее науку, кто писал доносы на ее лучших людей, подписывал ложные заключения по обвинению во вредительстве". "Худо, что на нашем Ученом Совете звучат такие речи", — тихо и грозно сказал член КПСС Шкварников.

Снова выступил Раушенбах — один из тех, кто давал ложные заключения по обвинению во вредительстве безвинных людей: "Как же это приверженцы мичуринского учения Родину предавали, когда оно ЦК было одобрено. А он предавал, в гитлеровской Германии жил, всякому ясно".

Тогда заговорил другой замдиректора Р. И. Салганик — человек очень интеллигентный, образованный и талантливый. Он Николая Владимировича принимал у себя дома и очень хорошо разбирался, что к чему. Но он еврей, а жертва еврея на алтарь верноподданничества должна быть не просто обильной, а взлелеянной у самого сердца. Салганик сказал: "Тимофеев-Ресовский мог и должен был вернуться за долго до 1937 года, тогда еще никакой опасности не было. А он поехал в профашистскую Германию и остался там. Видно, фашизм больше устраивал его, чем страна строящегося социализма".

Его прервала Нинель Борисовна Христолюбова. Она сказала, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет подвергать Николая Владимировича такого рода нападкам.

Тогда встала я и сказала, что Николай Владимирович поехал в 1926 году не в профашистскую Германию, а в страну, находившуюся накануне коммунистической революции. Победа фашизма в Германии совершилась не без участия Советского Союза. Воспрепятствовав образованию единого фронта против нацизма, Сталин способствовал победе Гитлера. Вопрос о патриотизма Николая Владимировича просто нелепо ставить. И если Нинель Борисовна снимает кандидатуру, то я ее выдвигаю.

Директор Института Д. К. Беляев до той поры молчал. Он всегда выступал в роли закулисного дирижера театра мирионеток. Теперь он сказал, что, видя возникшие разногласия, он думает, что нам не следует выдвигать никого по Отделению биофизики. Это предложение прошло большинством голосов. А Зое Софроньевне устроили специальную проработку.

Еще в 1963 году, до снятия Хрущева, она на одном из заседаний, когда создавались бригады коммунистического труда, сказала, что мы не достойны высокого этого звания: в стране голод, хлеба не хватает, причина — невежественное планирование сельского хозяйства, а мы — специалисты по сельскому хозяйству — молчим...

Она говорила, и зал, по крайней мере, три его четверти, аплодировали. И тогда выскочил боком на трибуну Д. К. Беляев и говорил все, что ему было бы предложено говорить, имей он время проконсультироваться в Райкоме. Он очень красивый, сухой, шея у него не толстая, скорее тонкая, и она дергалась в нервном тике, от угла рта к ключице. После этого Зою Софроньевну "прорабатывали" снова. Ю. П. Мирюга — сотрудник Института, знавший Зою Софроньевну по Горьковскому университету, откуда ее выгнали в 1948 году, — сказал, что он всегда считал ее вредителем, человеком безнравственным. "Знают ли присутствующие, что она по вечерам в ресторане в оркестре на рояле играла?" А она действи-

тельно играла, и это был ее единственный заработок, после того как ее выгнали. У нее было трое своих детей и еще сколько-то приемных...

В 1970 году Николаю Владимировичу исполнилось семьдесят лет, и Московское общество испытателей природы праздновало его юбилей. Юбилей назначила Академия Наук. Были разосланы приглашения и напечатаны названия докладов. А потом юбилей отменили. Представляю, что содержали доносы, которые послужили причиной этой отмены.

БОРИС ЛЬВОВИЧ АСТАУРОВ

Генетики, как правило, не участвовали в демократическом движении. Их подписи не стояли под обращениями к Партии и Правительству с просьбой не так безжалостно карать, если дело не касалось генетики.

Борис Львович представлял собой исключение. Когда умер Сталин, его преемники, следуя завету Бориса Годунова, вложенному Пушкиным в уста царя, один за другим ослабляли державные бразды. Маленков выпустил на свободу уголовников, Хрущев открыл двери тюрем, миллионы осужденных по политическим статьям обрели свободу. Новое руководство во главе с Брежневым сняло запрет с генетики и слегка обуздало Лысенко.

Когда в 1963 году, еще в царствие Хрущева, поэт Бродский — тогда еще совсем молоденький мальчик — был осужден как тунядец на пять лет ссылки в Архангельскую область, — я обратилась к Дудинцеву — автору нашумевшей книги "Не хлебом единым" за помощью. Свободолюбец этот тогда был прокурором. Мне казалось, что приговор можно оспорить юридически, доказав несостоятельность обвинений и процессуальные ошибки. "Может быть, может быть, думалось мне, "они" поймут, что хватило через край. Возможен международный резонанс — Бродский переводил английских, испанских, польских поэтов и "они" согласятся свалить ошибки на судью и помилуют неповинного."

Свидание состоялось на квартире Бориса Львовича Астаурова. "Почему я должен вам верить?" — логично спросил прокурор. Я положила перед ним стенограмму суда над Бродским, записанную от руки, которую я вела в зале суда над Бродским. "Сверьте, — сказала я, — все, что совпадет, — правда!" "Но я стихи его видел, вы же мне и показывали их, когда я у вас в Ленинграде был, — он против народа писал, против партии писал". Я положила перед ним те самые стихи, которые показывала ему тогда: "Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать..." "Там он лежит на склоне, там я его зарыл. Каждой древесной кроне трепет вороньих крыл..." Это стихотворение кончается: "Разве он был вороной? Птицей, птицей он был". И остальное — в том же духе. Прекрасные стихи. Никакой политики. "Это не те стихи, — кричал прокурор, — почему я должен вам верить? Большие люди делают большие дела, а он у них между ног болтается, бороду отрастил, пьянствует, за бабами волочится".

А Бродский не пил и не курил даже и переживал свою трагическую любовь, о которой пишет и сейчас в своем великолепном цикле "Мария Стюарт".

Дудинцев все кричал и кричал, но я уже и слушать перестала. Я обратилась к Борису Львовичу и сказала: "Свобода отмерена свыше. Каждый хочет быть ее единственным глашатаяем, воспользоваться всем, а другому воспрепятствовать, а то тот превысит меру, тогда и ему запретят и всем запретят, и последнюю крупичку отнимут. Вот что происходит!" Борис Львович сказал, что он полностью со мной согласен. А дочь его, которая при этом присутствовала, плакала. Ей тогда было лет 17. Ничего у меня не вышло, и Бродскому я помочь не смогла.

Позволяя себе роскошь быть честным человеком, Борис Львович был избран академиком в тот самый год, когда не удалось выдвинуть даже кандидатуру Тимофеева-Ресовского. Он организовал новый институт в Академии Наук и стал его директором. Он был председателем Всесоюзного Общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова. В своем

Институте он отказывался увольнять сотрудников за участие в демократическом движении.

В 1958 году он был приглашен на десятый Международный Генетический Конгресс в Монреаль. Многие имели приглашение, но из генетиков разрешили ехать только Астаурову. Лысенковцев было с полторы дюжины. Он написал в ЦК, что не может ехать на Конгресс в составе делегации, все члены которой являются приверженцами антинаучной доктрины. Его репутация ученого была бы запятнана. "Не желая прибегать в этом документе к резким выражениям, — писал он, — я не могу обозначить их взгляды иначе, как приближающиеся к абсурду". Чтобы предотвратить роковой конфликт, который мог возникнуть, он привел еще и другую причину своего отказа — его отец был в это время очень болен. Другому такая смелость так не прошла бы. Его пускали и после этого за границу, и он снискал любовь и уважение за пределами страны.

В 1974 году один из сотрудников его института уехал на конференцию в Венецию и не вернулся. Власть имущие не хотели его отпускать. Борис Львович ходил в райком партии и просил за него. И этим воспользовались.

На очередном заседании Президиума Академии Астаурову дали понять, что не считают побег его сотрудника случайностью. Борис Львович переживал это страшно, он слег и вскоре после заседания президиума скончался.

В 1939 году в Эдинбурге состоялся седьмой Международный генетический конгресс. Н. И. Вавилов был приглашен возглавить его. Ни один генетик, включая Вавилова, не получил разрешения поехать в Шотландию. В знак протеста против этого полицейского акта на место председателя не был избран никто. Председательское кресло стояло пустым.

В 1973 году в Калифорнии на тринадцатом Международном Генетическом Конгрессе было вынесено решение созвать следующий Конгресс в Москве. Решение это — воздаяние почести русской науке, которая устояла под натиском мракобесия, и ученым — жертвам террора — Вавилову, в первую очередь.

Конгресс мог выполнить эту миссию только при одном непременном условии — его председателем должен был быть Астауров. Это и предполагалось. Смерть Астаурова не просто нарушила красоту замысла. Она придала благородному решению дьявольскую двусмысленность. Со смертью Астаурова его страна превратилась в страну его убийц.

... Я пришла на его похороны в Дом Ученых, на Кропоткинской улице, когда церемония началась. Стоял первый почетный караул: Овчинников, Беляев, Турбин и неизвестный мне человек. Я разыскала тех, кто ждал своей очереди занять место в почетном карауле, и стала в хвост. Очередь входила в Актовый зал, делала в нем петлю и выходила из него. Я сначала ничего не видела и не различала, кто стоит рядом, а потом разобрала — рядом стоял Андрей Дмитриевич Сахаров.

В тот самый день Москва проводила в изгнание, — слава Богу не в Сибирь, а в Норвегию, — Александра Аркадьевича Галича, и после его проводов Андрей Дмитриевич пришел на похороны Астаурова.

Ко мне подошел Фатих Хафизович Бахтеев — в прошлом сотрудник Вавилова и теперь его биограф. Бахтеев был с Вавиловым в той последней его экспедиции, когда Вавилов был схвачен и увезен в тюрьму. И еще один человек подошел — из числа тех, которые рождаются, чтобы стать великомучениками. Я познакомила Бахтеева и этого человека с Андреем Дмитриевичем, и образовалась четверка, чтобы стать в почетный караул. Мы подошли к двери, ведущей в Актовый зал, и стояли лицом к лицу с той четверкой, которой надевали на руки траурные повязки. Ближе всех стоял Иосиф Абрамович Рапопорт — один из самых бесстрашных. Я представила Иосифа Абрамовича Андрею Дмитриевичу, они обменялись рукопожатиями, и четверка прошла. Жирный курчавый молодой человек, ведший четверку, слышал имена тех, кого я представила друг другу. И вдруг очередь стала таять, и никого не осталось вокруг нас, и объявили, что траурный митинг начался и почетный караул снят. Сахаров у гроба Астаурова — это никак не входило в планы закулисных дирижеров похорон!

Хоронили Бориса Львовича на Новодевичьем кладбище — очень почетное место, где хоронят только с разрешения ЦК.

Ближе к раскрытой могиле чинопочитание соблюдалось не так строго.

Восемь человек, все одинакового роста, несли гроб от ворот монастыря сперва до места, где снова был траурный митинг, а потом до могилы.

Помню среди этих восьми Эфроимсона — бледного, очень несчастного. Выступал Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Под открытым небом перед многосотенной толпой его громовой голос был едва слышен. Он говорил: "За нас он погиб, в нашу защиту он подставлял под удар свою ничем не защищенную грудь, свое ранимое нежное человеческое сердце".

Я думаю, если бы Бориса Львовича спросили, где он хотел бы почивать, он без колебаний сказал бы — во дворе Саратовской тюрьмы. Сановная могила на кладбище Новодевичьего монастыря ставила под подозрение его незапятнанную честь. Полагающийся ему по чину кладбищенский оркестр провожал Бориса Львовича от монастырских ворот до могилы. Играли что-то очень парадно-официальное, чудовищно фальшивя. Или мне так казалось...

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах,

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается
в магазинах русской книги и киосках страны.*